

Встречи с Максимом Горьким

Мастер времени

Непрерывно, два дня подряд, шел снег цепкий, пыльный. На холмах намело целые города; по лесу он шел серебристо-лазурными волнами, и в этих волнах стояли пузатые ели и тоненькие, как комар, березы.

Когда литераторы приехали в «Горки» к Алексею Максимовичу на совещание, по обеим сторонам дороги лежали высокие, искусанные лопатами груды великолепного снега. Небо над снегами стояло легкое, какое-то озабоченное, без единого облачка, и солнце играло в этом пуншом добре так смело, что глаза лихорадило.

Горький как часто бывало, встретил гостей на крыльце. Он был в коротком пальто, в длинных валенках, и его лохматые брови и усы образовывали на лице веселые, замысловатые, золотисто-пепельные линии.

— Неужели в Сибири снега еще лучше? — спросил он ученого-сибиряка, гостившего в те дни в «Горках». — Вель это отличнейшие снега. Глядишь — и не наглядывшись.

Я хорошо знал ученого. Он не был болтлив. Но Сибирь, узнав, что он увидит Горького, столько «препоручила» ученому, что он вот уже неделю ветровал в самую малюсенькую шель рассказа и спешил сообщить о том, что делает нового по тому или иному поводу Сибирь. Казалось бы, какая вековая, непроборимая стихия — снега! Но и тут сибирские ученые ищут новое, чтоб использовать для человека эти, всегда гнетущие его, силы природы. Он говорил о снегах на Байкале, о режиме байкальских льдов.

Горький слушал, как всегда, внимательно. Липо Алексея Максимовича было взволнованное, по глазам было видно, что спал он плохо, но он был попрежнему бодр, приветлив, голос его звучал ласково, а движения, несмотря на болезнь, быстры.

Но сквозь внимательность, с которой он слушал собеседника, сквозь гостеприимство и заботу, чтоб множеству приехавших литераторов и ученых было удобно разместиться в этих комнатах, было уютно,

тепло, светло, — невольно чувствовалось еще что-то еле уловимое, какая-то громадная мысль о радости, которую Алексей Максимович жадно делал в себе. Все мы — одни больше, другие меньше, — понежнго прониклись этим настроением под'ема, и беседа, которая в обычное время текла бы медленно, теперь развивалась быстро, бойко, весело, так что на людей было приятно смотреть.

Приятно было и Горькому смотреть на писателей и ученых. Он всегда считал, что литература — мост между сложнейшей современной наукой и народом. От науки он хотел ввести в литературу точность, направленность к одной цели, активность, все возрастающую в своей силе, способность человека бороться против неосознанно, а значит и неразумно действующих сил природы, способность видоизменять природу, создавать иной, лучший порядок вещей, соответствующий высшим требованиям свободной человеческой воли. От литературы он хотел ввести в науку поэтичность, образность, идеальность, чистоту языка, чтобы передать народу то творческое напряжение человека, которое в нашей стране развивается и совершенствуется до пределов, которые предусмотреть пока невозможно.

Горький любил науку, ум, искусство. Но это не значит, что искусство говорить и писать мило, хлестко, ловко он считал умом. Он любил ум истинный и простой, тот, который для пошляков часто кажется выдохнувшимся и потерявшим прелесть новизны. Он постоянно повторял, что пошляки писали и о Пушкине, и о Толстом, и о Достоевском, что писатели эти «испытываются». Горький ненавидел умы, искажающие истины, заботившиеся о наружном блеске. Он желал, чтоб умные, ученые, талантливые люди говорили с народом словами простыми, делными, меткими. В искусстве, как и в жизни, простота и честность — вот главные элементы счастья.

Я глядел на него, и мне казалось, что он находится под обаянием дохнувшей на него честности и простоты, огромных, невиданных, колоссальных размеров. Все реплики Алексея Максимовича, все его предложения были в тот день четки, быстры, коротки и совершенно исчерпывающи. Он соединял свое наслаждение умом ораторов с самой простой пользой для народа — сдержанно, осммотритель-

но. Он видел овраг там, где другие замечали только цветущий кустарник по бокам оврага, и замечал проезжую дорогу там, где другие видели только непроходимый овраг.

Тихо наклонившись к Макс, сыну Алексея Максимовича, я спросил шепотом: — Что с Алексеем Максимовичем? Он горит, пылает.

Макс кивнул головой, видимо, довольный, что Алексей Максимович «пылает», и, сознавая, что не пылать нельзя, сказал мне на ухо, улыбаясь всем лицом:

— Вчера он был у Сталина — и счастлив.

Между тем Горький, обращаясь к какому-то литератору, который собирался в Сибирь, говорил, поглаживая янтарным мундштуком свои прокуренные широкие усы:

— Народ дает удивительные определения, которые надо записывать тут же, определения, которые нам, литераторам, никогда не придумать! Вот вы едете в Сибирь. Непременно побродите среди народа в тех местах, где жила Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович. Вы непременно натолкнетесь на необычайные, новые, красивые и меткие выражения, которыми народ характеризует этих великолепных создателей нового общества. Красота слова есть типичность, отвечающая всем требованиям самого лучшего существования и вносимая в мир самим индивидом — и для него самого и для других, близких ему. Красота физическая рождается вместе с человеком и проходит, стареет, Красота духовная — ум, сердце — создается и развивается им самим, и она бессмертна. Например, один рабочий с Донбасса сказал мне о Сталине: «Мастер времени. Он каждую минуту знает, куда поставить и кого поставить в эту минуту, чтоб другую схватить в нашу пользу». Прекрасно. Красивые слова.

Алексей Максимович посмотрел на меня глазами расстроганым взглядом и проговорил:

— Мастер и, — добавил, — хозяин времени, наш Иосиф Виссарионович!

Всегда эти слова — Иосиф Виссарионович — он произносил так остро, горячо и в то же время без малейшей аффектации, что слушать эти слова в его произношении было не только приятно, но и очень красиво. Иногда, в минуты особой нежности, он говорил другое слово, звучавшее почти

вдохновенно на его устах: «хозяин». Глаза у него приобретали острый и сильный блеск. Он вынимал платок, вытирал глаза и затем улыбался, как бы и сам немножко недоумевая, что возможно так хорошо и вкусно произнести слово «хозяин», которому в иные дни он придавал совсем иное значение.

Горький всю жизнь ненавидел и презирал крупного и мелкого собственника, который сам себя называл «хозяином». Горький с удовольствием бичевал этого «хозяина», вывел его во множестве рассказов и романов.

И одновременно, всю жизнь, Горький мечтал о настоящем хозяине полей и фабрик русских, хозяине могучем, подлинном, умном, красивом и смелом во всех своих поступках, в борьбе за народное хозяйство и славу. В руках этого настоящего хозяина время приобретает крайне искусные и творческие формы, формы, четко отlišившиеся теперь, в сталинские пятилетки.

И вот теперь Максим Горький вместе с другими миллионами творцов завоевал право называть и увидеть подлинного хозяина труда — советского человека и среди этих миллионов новых людей, новых хозяев земли, — первого из первых хозяев вдохновения — великого революционера, ученого, Сталина.

Конечно, ни Горький, ни рабочий с Донбасса, назвавший Сталина «мастером времени», не воспринимали понятие времени как нечто отвлеченное. Они понимали время как символ действия, изменения, развития, а значит, жизни. Это — время освобождения труда, пятилетки преобразования земли, пятилетки изумительных строителей, это, наконец, то время, которое надо употребить с толком, потому что передышка от войны, от нового наступления империалистов, тоже носит название — время.

Точно так же не отвлеченно воспринимаем мы, писатели социалистической страны, историю дружбы между великим писателем Горьким, Лениным и Сталиным.

Влияние теоретических работ Ленина и Сталина на развитие советской литературы — огромное и плодотворное. Это, собственно, и есть подлинные корни социалистического реализма, потому что существует другой, пассивный, фантастический реализм, для которого весь вопрос в том, каковы вещи, как они кажутся на невооруженный взгляд, а не в том, какими мы желали бы, чтоб они были для блага людей и переустройства мира. Кого из нас не может увлечь эта несравненная смелость разработки темы, характеризующая труды Ленина и Сталина, эти быстрота и дальновидность действий, точность и ясность слога. Мысли их идут мощно и

быстро, подобно горной реке, и, как эта река разрушает и ломает горы, так и тут падают подмытые горы невежества, заблуждений, фаталистического и пассивного отношения к жизни. И, подобно тому, как горная река несет силу, свет и тепло, если остановить ее, запрудить, подумать над ней, — так и эти мысли Ленина и Сталина несут воплощенные идеалы сотням и сотням поколений человечества, что мерпают там, под облаками жизни, словно белоснежные вершины. Истинному творцу светят вершины не только прошлого, но и будущего, и он должен уметь их видеть.

Огромна и плодотворна для советской литературы дружба Сталина и Горького. Это была дружба двух титанов, трудящихся над одним делом. Сущность этой дружбы заключалась в том, что они оба прекрасно понимали условия, в которых могут и должны развиваться литература и искусство. Литература, как лес. Лес растет медленно и если уж вырастет, то вырастет такими кряжами, которые будут существовать столетия. И литература — не трава, которую можно косить иногда, даже два раза в лето. Мало того, поросль столь нежна, что ее легко растоптать, и вот почему титаны падают медленно и осторожно, и вот почему Горький так нежно делал молодую литературу, — быть может, иногда даже преувеличивая силу ее отдельных творцов, — и вот почему Сталин говорил, что писателей должно быть у нас много, десятки тысяч и, разумеется, писателей хороших.

И вот почему, если какой-либо из советских писателей назовет имя Горького и Ленина, Горького и Сталина и на мгновение сосредоточится, он увидит перед собой мысленно эти лица с такой же ясностью, как видит своих близких и любимых родных: отца, брата, деда...

Так думалось мне в тот день за длинным столом в зале, в «Горках».

И еще вспоминался мне 1928 год, узкий Машков переулок на Чистых Прудах, где по приезде из-за границы остановился Горький.

Когда я подошел к подъезду дома, неподалеку от дверей стояла пожилая женщина в платочке со сверточком в руке. Маленькая девочка жевала хлеб, запивая его водой из бутылки. Я уловил во взгляде женщины что-то сгнанное, будто она смотрела на меня с некоторой завистью. Я хотел ее спросить, чего она ждет здесь, но постеснялся. Видно было, что стоит она здесь давно, что приехала издалека, а стоит прочно, крепко, и понятно, почему ее стесняются спросить. Она-то знает, зачем стоит.

Не видался мы с Горьким давно, и я, грешный, засиделся — часа четыре прося-

дел. Каюсь, просидел бы и больше, кабы ему не понадобилось ехать куда-то на заседание.

Вышли. У подъезда автомобиль. Горький приглашает. Я отказался. — Жил я не так далеко от Машкова переулка, да и хотелось к тому же пойти домой пешенком, медленно, обдумывая беседу, как всегда, и укрому, и беспокойно-большую, широкую.

Автомобиль покатился... Тут только я заметил пожилую женщину в праздничном нарядном платочке. Она стояла подле меня, и, держась за ее руку, жадно глядела вслед Горькому маленькая девочка. Лица у девочки и у бабушки ее были какие-то клубящиеся, точно когда откроешь ставни в избу в летник, весной, те заклубится перед тобой прошлогодняя пыль, и поползет в углы ночная мошкара, и хорошо делается на душе, и нельзя не улыбнуться.

— К Горькому? — спросил я. — А куда ж вы девались? Он вас и не видал.

— А мы в под'езд, — сказала, вся заливаясь теплой краской, бабушка. — Мы стеснительны. Онемели. Вышли, когда он уехал.

— Надо б поговорить с ним вам, бабушка.

— Надо б, да и как скажешь? Народ ему все давно высказал, он — записал. А я сказать стесняюсь. Повидать бы нам его, ну, и повидали. Внучка больно хотела... Я из Ярославля, ткачиха. Работала я сорок, почесть, лет, а ночью ушла с производства по усталости. Ну, да ничего: наладили жизнь не до полдня, а на весь день, можно мне и отдохнуть...

Она взглянула на меня ясными и веселыми глазами и, улыбаясь, спросила:

— Ты заметил, какая у него рубашка-то? Голубая!

— Он всегда, сколько помню, голубые носил.

— Да ведь не в цвете дело, а в том, что матерьял-то такой мы недавно освоили. И послали к нему в подарок. Он и надел. Крепкий матерьял, якорь повесил, не оторвется. Ребята говорили: наш матерьял носит, а я не верила. Теперь смотрю, наш. И так ему к лицу, что я подумала: всегда, должно, он наш матерьял носил. И мой станок тоже ведь работал, хоть я прилегла теперь от усталости... Да вот и внучка, небось, будет на нем ткать. А, Шура, будешь полотно ткать?

Девочка, подумавши, ответила тоненьким и прозрачным голоском:

— Не, баушка, я полотно ткать не буду.

— А что же ты будешь ткать. Шура? — А я книги буду ткать, баушка.